

ПО СЛЕДАМ ЖОРЖИКА УРАНСКОГО

Независимая газ. - 1996 - 30 июля - с. 7

За что современные критики невзлюбили Марину Цветаеву

Борис Парамонов

Сатисфакция

В РОССИЙСКОЙ печати имело место событие, вызвавшее во мне бурю негативных эмоций. Была сделана попытка, как пишут авторы, развенчать миф о Марине Цветаевой. Эти авторы — Михаил Золотонос и Михаил же Синельников, занявшиеся этим в двух следующих одна за другой статьях, напечатанных в «Московских новостях» в 1996 г. (№№ 15, 18). Предлог был найден самый необязательный: отклик на новую книгу Иры Кудровой о Цветаевой (издательство «Независимой газеты», 1996). Как почти всякий монографист, Ирма Кудрова слишком увлечена предметом своих исследований — и не видит на этом солнце никаких пятен. Пятна, конечно же, были, но Золотоносов с Синельниковым хотят нас уверить, что не было самого солнца.

При этом Золотоносов, начавший акцию, пишет, в сущности, и не о стихах, а о чисто биографических моментах: знала или не знала Цветаева о деятельности своего мужа Сергея Эфрона, ставшего в эмиграции агентом НКВД и замешавшегося в одно мокрое дело. Кудрова в стремлении обелить любимого автора уверяет, что не знала. Это сомнительно, конечно, но Золотоносов, указывая на эту сомнительность, тут же начинает задирает и стихи. Миф о Цветаевой подвергается у него тотальному отрицанию: мол, и баба дура, и стишки так себе.

Безусловно, понимая, что последнего тезиса ему самому не доказать, как бы он ни тужился, Золотоносов привлекает на помощь другого, соразмерного Цветаевой поэтического гиганта — Осипа Мандельштама, имевшего неосторожность в одной очень не принципиальной статье (недаром же не включенной им в его сборник «О поэзии» 28-го года) негативно высказаться по адресу Цветаевой. Но «*поэт может сказать о поэте нечто, для чего и не нужно быть поэтом*». Вспомним, что молодой, а следовательно, задорный Мандельштам в то же примерно время назвал поэзию Ахматовой столпничеством на паркетке. Надо ли доказывать, что

это высказывание не определило их отношений и их взаимной оценки? И можно ли считать приведенные слова окончательным и бесповоротным мнением Мандельштама о Цветаевой?

Мандельштам не мог не видеть масштаба Цветаевой. Интересно, что много позднее, в «Разговоре о Данте», он вспомнил ее слова об «уступчивости речи русской». Он посвятил ей стихотворение «Не веря воскресенья чуду», где есть иное и поистине замечательное определение Цветаевой: *монашенка беговая*. («С такой монашенкой беговой связаться — значит быть бегом»). И при этом — он скорее прав в конкретной оценке того, о чем говорил в цитированных словах. В московско-русском цикле Цветаевой беговость ее монашества не совсем выражена — она угадывалась Мандельштамом в женщине, в человеке, но еще не проявилась в поэте, в поэте. С Мандельштамом можно согласиться: эти стихи — нехороши, стилизованы, по-своему маскарадные, она здесь играет — в болырыню Марину, но это еще далеко не Цветаева. Мандельштам, вне всякого сомнения, имел в виду ее сборник «Версты-1», где был помещен указанный цикл. Но подлинная Цветаева там еще и не начиналась. Это ясно всем, кто знает ее поэзию.

Но это не ясно второму зоилу, Синельникову, который пишет: «В самых ранних, еще детских стихах Цветаевой есть проблески своеобразной гениальности, юные стихи Марины вызвали восхищение взыскательных критиков. Но дарование Цветаевой по природе своей дарование «вундеркинда». Бывает сплошь и рядом так, что происходит ломка и пропадает чудесный мальчишеский альянс...»

Скажу попросту: большей глупости в критической литературе — даже не о Цветаевой, а вообще, в критике как таковой, — мне читать не приходилось. И меня совершенно не убеждает выданное в подкрепление высказывание Арсения Тарковского о том, что Цветаева кончилась в 1916 году. Повторяю: она тогда еще и не начиналась. Так же, если не в большей мере, меня не убеждают негативные высказывания о ней Горького, Бунина, Зайцева, Ходасевича, Адамовича, упоминаемые Синельниковым. Горький в стихах вообще ничего не понимал; Бунин

был известен капризностью и какой-то гиперболизированной несправедливостью своих оценок; о незначительном, совершенно испавшемся в эмиграции Зайцеве и говорить не хочу; Ходасевич же отвергал не только Цветаеву, но и Пастернака.

А насчет Адамовича разговор будет особый. Цветаева однажды убила его статьей «Поэт о критике», первой же фразой в которой было сказано, что первая обязанность критика — не писать самому плохих стихов, а если пишет, то не печатать. Адамович же как раз считал себя поэтом и печатался в этом качестве. Цветаева сопровождала свою статью приложением, названным «Цветик», где привела избранные глупости из высказываний Адамовича о поэтах и прозаиках.

О том, как Адамович эксплуатировал свое влияние, поведал нам не кто иной, как Владимир Набоков: Адамович мелькнул в романе «Пнин» под именем Жоржика Уранского (напомним, что в былые времена уранистами называли педерастов). Жена набоковского героя Лиза сочла себя поэтессой. Набоков пишет: «*Один из ее поклонников, банкир и прямой покровитель искусств, выбрал среди парижских русских влиятельного литературного критика Жоржика Уранского и за обедом с шампанским уговорил мильягу посвятить следующий его подвал в одной из русских газет прославлению Лизиной музы, на чьи каштановые кудри Жоржик невозмутимо водрузил корону Анны Ахматовой...*» Жоржик Уранский торговал своими отзывами, попросту продавался, причем недорого — за обед, как оголодавшая проститутка. Значит, было что-то в деятельности Адамовича, что породило этот образ у Набокова.

А разве не говорит что-то о Цветаевой то обстоятельство, что ее считали лучшим русским поэтом XX века два поэтических гения — Пастернак и Бродский?

Настоящих знатоков Цветаевой никак не убедят эти сторонние суждения и комплиментарные, золотящие пиллолу разговоры о ее девической гениальности. Ранние сборники Цветаевой если и говорили что-то о ней, то исключительно о мощных потенциях молодого поэта: ощущалась неиссякаемость ее родников, колоссальный энергетический запас. Темы

же были заемными, стилизованными, как уже говорилось. Она начала получаться в революцию, ощутив в себе родственный разбойничий размах. Революция спровоцировала поэтический гений Цветаевой, научила ее престоупать — любимое ее слово. «*Нет любви к преступившему — не поэт*», — писала позднее Цветаева.

В «Верстах-2» она уже как бы вырвалась на простор, но это был простор цыганских кочевий — все та же стилизация. Настоящая Цветаева началась с книги «Ремесло» и утвердилась на максимальной высоте в книге «После России». Я уже не говорю о ее эмигрантских поэмах, о гениальнейшем «Крысолове». Назвать автора «Крысолова» кончившимся в 1916 году — я не берусь понять это суждение человека, вроде бы разбиравшегося в стихах.

Но в обсуждаемом контексте Арсений Тарковский и сам сойдет за Юпитера, меня же интересуют быки, даже скорее телята — Золотоносов и Синельников. Подозреваю, что их отношение к Цветаевой — внелитературного характера. Она их раздражает как человек, как женщина, у которой, как пишет Золотоносов, размазавший по тарелке одно-единственное слово Мандельштама, не хватало «главной чаши». Полемическому образу Изиды у Мандельштама критик придал какую-то уж не в меру сексуальную окраску, перешел на самое настоящее прямоговорение. Получилось, что Цветаева не нравится Золотоносову, потому что у нее нет этой главной части.

Что касается Синельникова, то этот не прощает Цветаеву попросту ее полового созревания. Она, мол, была хороша, когда обладала чудесным мальчишеским альянсом. Не понять, то ли девочка, то ли мальчик. У Цветаевой есть такие стихи о «неоперенном альте». «*Девичий и мальчишеский, на самом рубеже, единственный из тысячи и сорванный уже*». Вот отсюда и танцует Синельников. Мне же по этому поводу вспомнился Клюев: «*Там девушка тигру услада, А отрок геенно двуду*». Синельников пишет, что он «с болезненным удовольствием» прочитал статью Золотоносова. Думаю, что все его удовольствия — болезненные.

Нью-Йорк